

ПОВЫШАЯ ВИДИМОСТЬ: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ «ТВОРЦОВ РЕЧЕЙ НЕДОСКАЗАННЫХ» ВЕРЫ КАЛМЫКОВОЙ



—
СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА
Родилась в 1994 году
в Сыктывнаре. Поэт, магистр
филологии, критик, литерату-
ровед, лауреат Всероссий-
ской премии имени Демен-
тьева.

Когда возможна недосказанность?

Не оборванность, когда за полусловом не следует ничего более.
Другое: когда вот-вот — и будет продолжение речи. Когда автор жив.

М. Айзенберг, Е. Бершин, С. Гандлевский, И. Евса, А. Ивантер,
М. Налинин, Б. Ненжеев, Г. Нлимова, М. Нудимова, В. Нузьмина, М. Лаврен-
тьев, В. Месяц, С. Минанов, А. Тавров, М. Харитонов, Б. Херсонский,
О. Хлебников, О. Чухонцев — наши современники, мы дышим с ними одним
воздухом, имеем возможность ходить к некоторым на вечера. И еще один
герой книги, В. Шаповалов, на момент написания еще был жив. Успел ли он
досказать то, что хотел?.

Чаще всего поэт *попадает* под лупу академического обзора после
того, как уходит в потусторонний мир. Обрести прижизненного биографа-
литературоведа удастся далеко не каждому. Если автор — Пушкин или как
минимум Елена Шварц, то, скорее всего, о них уже написали Ольга Седа-
нова или Игорь Шайтанов. А живым, не досказавшим авторам делать — что?
Конечно, иные способны и проплатить исследование своего творчества: вен
пиара, симулякра и торжества онтического допускает абсолютно все. Вера
Калмыкова же безупречно неподкупна и блестяще разграничивает личное
и рабочее, как и подобает ученому. Политическая позиция и частная жизнь
авторов совершенно не интересуют автора книги. Анализируются «речи
недосказанные», но подчеркивается, что у них все еще есть живые творцы
и можно (и нужно!) успеть узнать их прижизненно, пока есть для этого все
возможности. Ученый не причисляет себя и к фанатам кого-либо, утверждая,
что «вряд ли узнает Айзенберга и Херсонского на улице».

О живых поэтах сегодня можно прочесть в Elibrary и «Ниберленинке»
в статьях молодых ученых, немало публикуется и в «Вопросах литера-
туры», но есть кое-что, что серьезно отличает стиль «Творцов» от сухого
анализа.

Во-первых, Налмыкова ставит перед собой задачу не перегрузить читателя и сделать книгу доступной даже человеку, далекому от мира филологии. Такой подход необходим для выполнения сверхзадачи — вернуть поэзию и читателя друг другу, сломать стереотип «поэты слушают и читают поэтов» и, поскольку свято место пусто не бывает, выстроить на его месте нечто иное.

Во-вторых, *соавтор* книги — искренняя любовь, та самая, которая «долготерпит, милосердствует, никогда не перестает». Долготерпит — потому что некоторым героям книги уже немало лет, они 1930–40-х годов рождения; в подборке ни одного «молодого да раннего». Милосердствует — потому что нет ни изощренного поиска изъянов, ни слишком личной приязни, что непременно бросило бы тень на исследование. Приведу небольшую цитату: *«Как Кудимова сопрягает различные и совершенно не уживающиеся нигде, кроме поэзии, лексические пласты...»* Если подобной «неуживчивостью» будут грешить лексические пласты семинаристичности, ей за это достанется от мастера. Ну и, скорее всего, поделом. Это ведь та еще алхимия. И правило «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» действенно. Кудимова — алхимик, и у нее такой допуск есть, и смысл химической реакции «О, виталища, жизнища...» Налмыкова едва ли не побунвенно объясняет. Что же до «не перестает» — так герои физически живы. Но и Шаповалов тоже, несомненно, в некотором смысле, в памяти людской, в оставленной после себя книге с удивительно сложными, математическими, историзированными стихами, жив.

Нак-то раз мне сказали на одном семинаре: «Позвольте, но как можно любить одновременно Айзенберга и Кудимову и читать их вместе? Не всеядностью ли это зовется?» — когда я робко назвала их имена рядом в списке моих ориентиров в поэзии. Это соседство не я первая придумала. Постыдно смолчала тогда, что они оказались под переплетом «Творцов...». Более ли позволительна такая любовь Вере Налмыковой, чем мне, личинке ученого?

Когда мертвый получает лавры, обычно к этому нет вопросов, ведь *De mortuis aut bene, aut nihil*. Когда речь идет о живых, а лаврами являются эссе, начинается шквальное возмущение и дебаты. Нак так? Почему именно эти имена? Почему не те? Незаслуженно.

Нет, позвольте, заслуженно абсолютно. Позвольте с вами не согласиться... Сама Налмыкова честно признается в предисловии, что ее книга, нак и любая другая, — «образчик авторского индивидуализма, произвола и субъективности». Противопоставить этому нечего. Можно просто читать. В науках о человеке объективность сомнительна, даже невозможна: желание глубинно изучать некий феномен всегда подразумевает под собой некое пристрастие. Помним, что оно может быть и весьма пагубным.

Я не буду заниматься пересказом и безудержным цитированием этой книги — такой жанр относительно научных работ нерезультативен. Двести тридцать восемь страниц, при особом желании, могут быть осилены за пару-тройку дней, тем более что сквозь фактуру текста не приходится продираться с топором. Моя задача — поговорить о созидательных последствиях, к которым приводит чтение подобной литературы. И предостеречь читателя от непрочтения, потому что если что и губительно, так это именно оно.

«Поэты первой очереди», «первого эшелона», «знаковые», «культовые»... Если о человеке можно прямо и смело сказать «поэт», все эти ранжиры

и ярлыки нажуются неуместными. Ведь рейтинг возможен исключительно в рамках определенной игры. Игра — это тусовка, сообщество, формация, школа, кластер. Под обложкой своей книги Калмынова не может создать игру, потому что она вообще не играет, для нее поэзия — это жизнь, про жизнь, о жизни, жизнь сама, живое, живительное, животворящее, живейшее и живучее. Это ее *Credo Apostolorum* не как литературоведа даже, а как читателя. Символ веры в пресловутую жизнь.

Ипостась поэта без ипостаси читателя беспомощна, искалечена. Быть Маугли в поэтическом мире, не утруждая себя попытками узнать миры других авторов, — затея, обрекающая на провал. Равно как обречена на провал затея соответствовать странной пословице «Где родился, там и пригодился» — неужели не интересно хотя бы съездить в пригород, в соседний город, за рубеж? Лицезреть, изучить, сравнить?

В некотором смысле «Творцы...» — поэтический тревелог по мирам разных героев. Между мирами этими есть границы, но есть и врата перехода из одного в другой, и точки, и запятые пересечения.

А теперь — о том, как же работает эта книга.

Я знала, что есть такой поэт — Марина Нудимова. Известный. Принято такое определение — «большой». К своему стыду, я не могла ничего процитировать из нее, не утруждала себя, прошла мимо. Прочитав главу, посвященную ей, в «Творцах...», я ушла жить какую-то свою жизнь, как это обычно и бывает. Но информация о Нудимовой, ее интервью, ее стихотворения, ее принципиальная позиция нелюбви к пиару всех мастей и расцветок стали появляться в моей жизни. Как будто кто-то включил таргетированную рекламу, и понеслось. На одной из поэтических школ меня поселили в комнату с девочкой, которая училась у Марины Владимировны на семинаре и была в абсолютном восхищении от ее творчества и личности. Когда в долгой поездке на форум поэтов в Сергиев Посад таксист остановился в Переделкине и перед нами выросла заснеженная фигура Марины Владимировны, я поняла, что со мной сделала Калмынова. Это не было удивление. Скорее, чистая радость.

— Мне нужно представляться? — спросила Марина Нудимова.

— Что вы, — ответила я.

Далее произошло немало удивительных событий, но теперь я могу цитировать не только «Оркестр на Титанике». И твердо знаю, что судьба Демьяна Бедного — кошмар для настоящего поэта и счастье для беспринципного пиарщика, а почему — добро пожаловать в блоги Нудимовой.

Книга не «пробудила интерес»: невозможно пробудить несуществующее. Она его *создала*. Дальше он вырос сам и увел за собой, в данном случае меня.

Каждый из нас наверняка замечал за собой, что, увидев новое, сложное для себя слово, например, иностранное, не утруждается хотя бы залезть в Google и узнать его смысл. Но это слово начинает преследовать его повсюду. Или не слово, а тайный знак. Нечто, граничащее с необъяснимым.

Поэзия — это мистический феномен. Не то чтобы профессия. «Литературный работник» — извините, корректор тоже является таковым, но поэзия тут при чем? Вера Калмынова как раз приводит пример, что выпускник Лита может писать так себе, а сотрудник Сбербанка раз — и выдаст шедевр. Поэзия сама вербует в свои ряды, указуя перстом на тех, кого ей заблагорассудится благословить или отринуть.

Эта книга учит тому, что, пока поэт жив, возможна удивительная встреча с ним. Подобная история сложилась лично у меня и с Галиной Даниелевной Нлимовой, и в том, что нам однажды довелось выпить чаю и поговорить о литературе, есть немалое влияние именно этой книги. Но встречаю не обязательно суждено стать личными. Айзенберг из выученного в юности «Свет беспамятства и торжества изменяет рисунок...» превратился в зрелое, дауншифтерское «надо побить травой», и прорезалась новая глубина. Лента в соцсетях запестрела высказываниями Ефима Бершина в духе «это трусость для поэта — прикрываться лирическим героем». Чуть позже я была приглашена на его творческий вечер на Поварской. Встретила людей, фанатеющих от Чухонцева так, как пьющие подростки — от популярной панк-рок-группы. По-моему, эти ребята даже мерч с ним какой-то сделали.

Девятнадцать творцов речей недосказанных перестали быть безнадежно далекими холодными звездами русской литературы.

Вера Налмыкова зовет читателя к себе на балкон, указывает в синее небо и говорит: смотри.

Она повышает видимость.

О понятии видимости сейчас бурно говорят в актуальной повестке. Видимыми, мол, надо сделать людей с такими-то и эдакими особенностями... Поэты-современники, понуда афиши с их именами не висят по всему городу наряду с афишами поп-исполнителей, а книги их не становятся бестселлерами, к сожалению, нередко *на самом деле* носят плащ-невидимку.

И читатель сначала просто смотрит вслед за перстом с ракурса, указанного автором «Творцов...», практически ее глазами и вдруг начинает видеть то, на что сам и внимания не обратил бы: причины неславившегося не так важны. Вот они, герои книги, живее всех живых. С нами. Их можно встретить на семинаре, в заснеженном Переделкине, а может, и на Арбате или в любом другом городе — география обширна... Или в соцсетях, даже будучи не взаимным «френдом», а молчаливым подписчином. Это все равно куда более близкое взаимодействие, чем с тем, кого с нами нет. Там возможен только монолог: взять в руки книгу, читать ее, посмотреть видео с ним.

Ответа не воспоследует.

И самое прекрасное, что даже когда (пусть не скоро!) поэты превратятся в «творцов речей *досказанных*», эта-то книга, тиражом 1000 экземпляров, будет тысячу раз делать их живыми.

Потому что такое живое можно написать только о живых. Живыми чернилами любви и безусловного принятия. Ведь живым что-то может и не понравиться. Живые могут даже сказать: не печатай это, я не хочу. А ушедшие на тот свет уже, к сожалению, ничего не могут. Ну, разве что угрожающе снится.

Эта книга — катализатор химических реакций, которые начинают неминуемо и неумолимо возникать при сопереживании с мирами исследуемых поэтов. Она показывает, что литературоведение может быть и таким: без высокопарной и пафосной попытки поставить ученого на недостижимую высоту, где читатель будет печально ощущать себя слишком внизу, стремясь закрыть книгу на первом десятке страниц, а открыть решит, когда «дорастет». Она сближает читателя и героев: ведь и сам читатель еще не досказал какую-то свою речь, будь он и не от мира литературы вовсе. Анализ условно-

старых работ побуждает следить за работами новыми, обращаться к тому же «Журнальному залу».

Ученый Анна Шмаина-Великанова как-то раз упомянула «оскольчатый-фрагментарный характер современной филологии», сетуя на то, как данная наука дрейфует к смежным, лишаясь самой себя. Здесь же мы видим жизнеспособную систему, где софит взгляда ученого выхватывает из кромешной темноты не только объект исследования, но и, условно, людей из зала и того, кто шил кулисы, если эссе требует подобной глубины. Важнейшую часть книги составляет феномен диалога: тут — отсылки на интервью героев в современной литпериодике, от «Этажей» до «Ното Legens», а тут прямые цитаты из Книги Иова, из Пастернака — чтобы помочь раскрыть смысл рифмы «себя — тебя» у С. Минанова. И все становится светло и ясно.

Когда недосказанность еще так тепла, так возможна — начинается волшебство.

